Михаил Афанасьевич Булгаков
Полотенце с петухом

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы1, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года2 я стоял на битой умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же, во дворе, мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить — существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и, наконец, плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич... «Парализис», — отчаянно, мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

— П… по вашим дорогам, — заговорил я деревянными синенькими губами, — нужно п... привыкнуть ездить...

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

— Эх... товарищ доктор, — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками, — пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо3 на белый облупленный двухэтажный корпус, на

---

1 *...уездный город Грачевку от Мурьинской больницы...* — Речь идет об уездном городе Сычевке и Никольской больнице. Название села и больницы Булгаков несколько раз видоизменял (Мурьево, Мурьевская, Муравьевская...), а в рассказе «Стальное горло», который был опубликован первым из цикла, село и больница называются «своими именами» — Никольское и Никольский пункт-больница. Конечно, при издании «Записок» отдельной книжкой Булгаков, несомненно, все названия привел бы к единообразию.

2 *...в два часа дня 16 сентября 1917 года... в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года...* — Мы уже подробно останавливались на этом вопросе, но имеются и другие важные сведения. Дело в том, что в архиве писателя хранился комплект журнала «Медицинский работник», не включенный при описании архива в его состав (из-за отсутствия на журналах авторских помет). Так вот, в тексте рассказа «Полотенце с петухом» имеются исправления чернилами. В первом случае исправлен год 1917-й на 1916-й. Во втором случае не только исправлен год (то же исправление, что и предыдущее), но и зачеркнуто слово «незабываемого». В результате текст стал читаться так: «...16 сентября 1916 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Сычевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 16-го года я стоял...»

Кто внес эти исправления в текст? Ответить довольно сложно из-за отсутствия в исправлениях характерных особенностей, присущих почерку Булгакова. Но исправить текст мог только сам Булгаков или Е. С. Булгакова.

3 *Я содрогнулся, оглянулся тоскливо...* — Из воспоминаний Т. Н. Лаппа: «На лошадях по неописуемо жуткой грязи и колдобинам мы добрались поздним вечером до Никольского. Естественно, нас никто не встречал, но врача уже ждали давно...» (Запись А. П. Кончаковского). Из ее же воспоминаний (более поздних): «Отвратительное впечатление. Во-первых, страшная грязь. Но пролетка была ничего, рессорная, так что не очень трясло. Но грязь бесконечная и унылая, и вид такой унылый. Туда приехали под вечер. Такое все... Боже мой! Ничего нет, голое место, какие-то деревца... Издали больница видна, дом такой белый и около него флигель, где

небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

«...Привет тебе... при-ют свя-щенный...»

— Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать... — в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками, — я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... в Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... И вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги — бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам.

— Эх ты, Госпо... — начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. — Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьинскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

— Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

— Нет, я кончил, — хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить ни к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение

работники больницы жили, и дом врача специальный... Голое место. Только напротив на некотором расстоянии дом стоял вроде помещичьего... Но все очень унылое такое...» (*Паршин Л. К.* Чертовщина в американском посольстве... М., 1991).

повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписаный кодекс поведения нарушил. Сидел скорчившись, сидел в одних носках, ине где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали моя ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я уже успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь, Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна4. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

— Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм...

— Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича5. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, — утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

— Вы, доктор, так моложавы... так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу ты, черт, — подумал я, — как сговорились, честное слово».

И проворчал сквозь зубы, сухо:

— Гм... Нет, я... то есть я... да, моложав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах пахло травами и на полках стояло все, что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего.

— Леопольд Леопольдович выписал, — с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье Леопольду.

---

4 *Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна.* — Характерно, что во всех рассказах цикла, за исключением «Стального горла», имена фельдшера и акушерок не меняются. Это еще одно подтверждение, что Булгаков рассматривал весь цикл рассказов как единую повесть. Что же касается «Стального горла», то повторим: он был напечатан первым не в «Медицинском работнике», и Булгаков в это время еще не определился с именами героев (имена в «Стальном горле»: Андрей Лукич, Мария Николаевна и Прасковья Михайловна). Известны и подлинные имена фельдшера и акушерок, помогавших Булгакову в его практике. Это Емельян Фомич Трошков, Агния Николаевна Лобачевская и Степанида Андреевна Лебедева.

5 *...стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича.* — Булгаков полностью сохраняет имя врача Леопольда Леопольдовича Смрчека (?—1921), который не был непосредственным предшественником Булгакова (предшественницей его была врач И. Г. Генценберг), но проработал в Никольской больнице более десяти лет (до марта 1914 г., затем был мобилизован на фронт) и пользовался огромным уважением у местного населения. Булгаков, проникшись, в свою очередь, симпатией к «доктору Липонтию», решил запечатлеть его заслуги в своих рассказах и сохранить тем самым имя этого замечательного врача для потомков.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете, в моей резиденции. Я сидел и как зачарованный глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват, — думал я упорно и мучительно, — у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятёрок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: „Освоитесь“. Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею „освоюсь“? И в особенности, каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка! Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедимитрия», — вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и привезут, — бухнул суровый голос в мозгу, — потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, — сказал я голосу, — не обязательна грыжа. Что за неврастения. Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», — ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилици 0,5 по одному порошку три раза в день...

«Соду можно выписать!» — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу инфузум... на сто восемьдесят. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что, порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, — остервенело защищался я, — в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, — демонским голосом пел страх. — Резать надо...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся,

юный неврастеник. Гляди — тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалявшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», — тоскливо подумал я.

— Что вы, что вы, что вы, — забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

— Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная, — выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. — Ах ты, Господи... Ах... — Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. — За что? За что наказанье?.. Чем прогневали?

— Что? Что случилось?! — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

— Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется — пущай. Пущай! — кричал он в потолок. — Хватит прокормить. Хватит.

Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.

— Что?.. Что? Говорите! — выкрикнул я болезненно. Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

— В мялку попала...

— В мялку... в мялку?.. — переспросил я. — Что это такое?

— Лен, лен мяли... господин доктор... — шепотом пояснила Аксинья, — мялка-то... лен мнут...

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» — в ужасе подумал я.

— Кто?

— Дочка моя, — ответил он шепотом, а потом крикнул: — Помогите! — И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза.

Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежепахнущей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, — думал я, — а сиделки, значит, его отпаивают... Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица. Видно, мать была красивая... Он вдовец...»

— Он вдовец? — машинально шепнул я.

— Вдовец, — тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидал, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

— Да, — тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек, — подумал я, — тут уж ничего не сделаешь...»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

— Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

— Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет... Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

— Попрошу камфары...

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим, обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее, — подумал я, — умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

— Сейчас помрет, — как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

— Камфары еще, — хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?.. — отчаянно подумал я. — Неужели придется...»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что сообразил, была железной, — что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла...

«Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию...»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» — думал я и, как волк, косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный

кус женского мяса и один из сосудов — он был в виде беловатой трубочки, но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria... Arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. «Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости! Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане…

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

— Жива?

— Жива... — как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна.

— Еще минуточку проживет, — одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается,

— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

— Живет... — удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал — треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спросила Анна Николаевна. — Очень, очень хорошо... Не хуже Леопольда...

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны — заметил в глазах уважение и удивление.

— Кхм... я... Я только два раза делал[6], видите ли...

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

— Когда умрет, обязательно пришлите за мной, — вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

— Слушаю-с...

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

---

6 *— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций?.. Я только два раза делал...* — На самом деле Булгаков действительно имел уже определенный хирургический опыт. Из воспоминаний Т. Н. Лаппа: «Там (в военном госпитале в Черновцах. — *В. Л.*) очень много гангренозных больных было, и он все время ноги пилил. Ампутировал. А я эти ноги держала... так дурно становилось, думала, сейчас упаду... Потом привыкла. Очень много работы было. С утра, потом маленький перерыв и до вечера. Он так эти ноги резать научился, что я не успевала... Держу одну, а он уже другую пилит. Даже пожилые хирурги удивлялись. Он их опережал...»

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас постучат... Скажут: „Умерла"...»

«Да, пойду и погляжу в последний раз... Сейчас раздастся стук...»

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

— В Москве... в Москве... — И я стал писать адрес. — Там устроят протез, искусственную ногу...

— Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне7 в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и наконец исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

Комментарии. *В. И. Лосев*

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА

Впервые опубликованы:

«Полотенце с петухом» — Медицинский работник. 1926. № 33, 34. 12, 18 сентября; с подзаголовком «Рассказ Михаила Булгакова» и с подстрочным примечанием: «Из книги „Записки юного врача"»;

«Стальное горло» — Красная панорама. 1925. №33. 15 августа; с подзаголовком: «Рассказ юного врача»;

«Крещение поворотом» — Медицинский работник. 1925. №41, 42. 25 октября, 2 ноября; с подзаголовком: «Записки юного врача»;

«Вьюга» — Медицинский работник. 1926. №2, 3. 18, 25 января; с подзаголовками: «Записки юного врача» и «Рассказ Михаила Булгакова»;

«Звездная сыпь» — Медицинский работник. 1926. №29, 30. 12, 19 августа;

«Тьма египетская» — Медицинский работник. 1926. № 26, 27. 20, 27 июля; с подзаголовком: «Рассказ Михаила Булгакова» и с подстрочным примечанием: «Из

---

7 *И много лет оно висело у меня в спальне...* — Очень хорошо запомнила этот случай и Т. Н. Лаппа: «За короткое время пребывания в земстве Михаил заслужил уважение и любовь не только окружающего персонала, но и многочисленных пациентов. Не могу и сейчас забыть того случая, когда молодая девушка, чудом оставшаяся жить благодаря стараниям Михаила, подарила вышитое ею льняное полотенце с большим красным петухом. Долго это полотенце было у нас, перевозили мы его и в Киев, и в Москву. А потом и оно исчезло...» (Запись А. П. Кончаковского).

готовящейся к изданию книги „Записки юного врача"»;

«Пропавший глаз» — Медицинский работник. 1926. №36, 37. 2, 12 октября; с подстрочным примечанием: «Записки юного врача».

Ни рукописи, ни верстки, ни другие материалы, касающиеся публикации «Записок юного врача», пока не найдены.

Печатаются по текстам первых публикаций.

В этом цикле рассказов повествуется о событиях 1916—1917 гг. и начала 1918 г.

История написания рассказов пока изучена мало. Существуют весьма интересные предположения и догадки на эту тему, но они недостаточно подтверждены точными данными. Поэтому представляется целесообразным последовательно изложить имеющиеся сведения.

Несомненную ценность в условиях почти полного отсутствия других источников представляют воспоминания Татьяны Николаевны Лаппа (1892—1982), первой жены писателя, которая находилась рядом с Булгаковым в селе Никольском и в Вязьме с сентября 1916 по февраль 1918 г. Ее воспоминания отрывочны, иногда несколько противоречивы (быть может, потому, что интервью у нее брали разные люди и в разные годы), но в целом, как показывают исследования, они достаточно объективны. Так вот, она вспоминала: «Когда мы после Никольского попали в Вязьму, Михаил начал регулярно по ночам писать. Сначала я думала, что он пишет пространные письма к своим родным и друзьям в Киев и Москву. Я осторожно спросила, чем он там занимается, на это он постарался ответить уклончиво и ничего не сказал. А когда я стала настаивать на том, чтобы он поделился со мною, Михаил ответил приблизительно так: „Я пишу рассказ об одном враче, который болен. А так как ты человек слишком впечатлительный, то, когда я прочту это, в твою голову обязательно придет мысль, что в рассказе идет речь обо мне". И конечно же, не стал знакомить с написанным, несмотря на то что я очень просила и обещала все там понять правильно. Название же этого рассказа запомнила: „Зеленый змий"» (Запись А. П. Кончаковского. Рукопись).

В этих воспоминаниях все вроде бы логично, за исключением, быть может, названия рассказа. Ведь речь идет, скорее, о сочинении, которое сам Булгаков называл «Недугом». И по времени все совпадает, поскольку именно в Никольском Булгаков вынужден был прибегнуть к морфию, заболев острой формой дифтерита (спасая ребенка, он отсасывал из его носоглотки образовавшуюся пленку, но сам при этом заразился), а в Вязьме его страдания стали почти невыносимыми. И ночная его работа была, видимо, связана с фиксацией наблюдений над самим собою. Поэтому-то он и страшился прочитать жене написанное.

И тем не менее можно предположить, что Булгаков работал в Вязьме (и возможно, в Никольском) не только над повестью о враче-морфинисте, но и над другими рассказами, и в их числе над «Зеленым змием». Это предположение тем более обоснованно, что Н. А. Земская, сестра писателя, однажды упомянула в своих воспоминаниях о том, что Булгаков еще в студенческие годы написал рассказ «Огненный змий». И еще: при внимательном чтении всех воспоминании Т. Н. Лаппа можно прийти к выводу, что она сама допускает вероятность работы Булгакова не только над «Зеленым змием», но и над другими рассказами, однако «только после отпуска» и после того, как Булгаков пристрастился к морфию (заметим, что в отпуске Булгаковы были в феврале—марте 1917 г.).

Переехав в феврале 1918 г. на родину, в Киев, Булгаков продолжал писательскую работу. Об этом есть упоминания и у Т. Н. Лаппа, и у Н. А. Земской. «Когда приехали из земства, — вспоминала Татьяна Николаевна, — в городе были немцы. Стали жить в доме Булгаковых на Андреевском спуске... Михаил все сидел, что-то писал. За частную практику он не сразу взялся...» Как бы продолжая эти воспоминания, Надежда Афанасьевна отмечает: «В Киев в 1918 году он приехал уже венерологом. И там продолжал работу по этой специальности — недолго. В 1919 году совершенно оставил медицину для литературы» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 87). Не менее важны и воспоминания об этом периоде близкого друга Булгакова — А. П. Гдешинского, писавшего Н. А. Земской в ноябре 1940 г.: «Что касается пребывания Миши в Никольском, под Сычевкой (Смоленской губ.), то

действительно я получил от него письмо, но оно не сохранилось... Помню только следующее... Это село Никольское... представляло собой дикую глушь... Огромное распространение сифилиса. Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию венерических отделений в этих местах. Впрочем, об этой стороне его деятельности наилучше расскажет *его большая работа, которую он зачитывал в Киеве* (выделено нами. — *В. Л.)* ...Этот труд, как мне кажется, касался его деятельности в упомянутом Никольском и, как мне казалось, — не без влияния В. В. Вересаева (совершенно очевидно, речь идет о рассказах земского врача, и довольно объемных, а не о повести о наркомане. — *В. Л.)* ...Миша очень сетовал на кулацкую, черствую натуру туземных жителей... Помню — это уже в разговоре потом в Киеве — о высоком наслаждении умственным трудом в глубоком одиночестве ночей, вдали от жизни и людей... Еще помню упоминание о какой-то Аннушке — больничной сестре, кажется, которая очень тепло к нему относилась и скрашивала жизнь...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 85—86).

Эти свидетельства со всей очевидностью указывают на то, что Булгаков, находясь в Киеве, систематически занимался литературой, опираясь на богатейший материал, который, очевидно, в значительной степени уже был собран и написан на Смоленщине; иначе как мог он зачитать в Киеве «большой труд» из туземной жизни, не подготовив его в Никольском и Вязьме? Не исключено также, что в Киеве Булгаков сотрудничал в некоторых газетах, занимаясь репортерской работой.

Булгаковские письма из Владикавказа содержат богатую информацию о его писательской работе на врачебную тему. Приведем некоторые фрагменты из этих писем. 1 февраля 1921 г.: «...работаю днями и ночами. Эх, если б было где печатать!.. Пишу роман, единственная за все это время продуманная вещь». 16 февраля: «У меня в № 13 (речь идет о доме на Андреевском спуске. — *В. Л.*) в письменном столе две важных для меня рукописи: „Наброски земского врача" и „Недуг" (набросок) и целиком на машинке „Первый цвет". Все эти три вещи для меня очень важны... Сейчас я пишу большой роман по канве „Недуга"». Через некоторое время Н. А. Земской: «...в Киеве у меня остались кой-какие рукописи — „Первый цвет", „Зеленый змий", а в особенности важный для меня черновик „Недуг". Я просил маму в письме сохранить их...» Собравшись к отъезду за границу, Булгаков просит Н. А. Земскую (май 1921 г.): «В случае отсутствия известий от меня больше полугода... брось рукописи мои в печку». Среди них опять-таки «Зеленый змий», «Недуг» и все пьесы.

Из этих писем вырисовывается более или менее ясная картина с «Недугом» и «Первым цветом» (по названию, конечно, а не по содержанию), и совершенно непонятна ситуация с «Набросками земского врача» и «Зеленым змием» — самостоятельные ли это сочинения, или речь идет о двух названиях одной и той же вещи...

Многие рукописи Булгакова действительно угодили в печку, но не все. Переехав осенью 1921 г. в Москву, писатель продолжил работу над ранее начатыми сочинениями. В письме к матери от 17 ноября он сообщал: «По ночам урывками пишу „Записки земского врача". Может выйти солидная вещь. Обрабатываю „Недуг". Но времени, времени нет. *Вот что больно для меня!* »

Весьма важным представляется нам следующее дневниковое свидетельство писателя Ю. Л. Слезкина, первого литературного наставника Булгакова: «По приезде своем в Москву мы опять встретились с Булгаковым, хотя в последнее время во Владикавказе между нами пробежала черная кошка... Жил тогда Миша бедно, в темноватой, сырой комнате большого дома на Садовой... Читал свой роман о каком-то наркомане и повесть о докторе — что-то очень скучное и растянутое...» Небезынтересна и следующая его запись: «...во Владикавказе Булгаков поставил при моем содействии... „Братьев Турбиных"... Действие происходит в революционные дни 1905 года, в семье Турбиных — один из братьев был эфироманом...» (НИОР РГБ, ф. 801, к. 1, ед. хр. 2). Так что тема, связанная с психологией наркомана, в течение нескольких лет разрабатывалась Булгаковым.

И все же на этом обрывается информационная нить о работе Булгакова над сочинениями «медицинского» цикла. Несколько лет о них фактически не было упоминаний (вернее, пока

такие сведения не найдены), и лишь в 1925 г. в печати стали появляться рассказы, подготовленные на основе имевшегося у писателя богатейшего «земского» материала. Из тех же «запасов» родился и «Морфий». Некоторые исследователи полагают, что повесть «Морфий» есть не что иное, как усеченный и обработанный «Недуг», но эти заключения могут быть существенно подправлены при возможном выявлении подлинных рукописей или иных первоисточников. Очевидно лишь одно — опубликованные «Записки юного врача» (так в окончательном варианте назвал в 1926 г. свой цикл рассказов Булгаков) и «Морфий» представляют собой лишь часть из того раннего рукописного наследия писателя, которое еще не обнаружено. И именно ту часть, которая могла появиться в свет в условиях нового времени.

* * *

К сожалению, не сохранилось никаких свидетельств, хотя бы частично освещающих ход подготовки рассказов земского врача к публикации. Но можно предположить, что писатель намеревался сначала напечатать рассказы в журнале, а затем выпустить их в свет отдельным изданием. Первой такой попыткой стала публикация рассказа «Стальное горло» в журнале «Красная панорама» (15 августа 1925 г.). И с первых слов рассказа: «Итак, я остался один» — стало очевидным, что это продолжение какой-то эпопеи... Вероятно, у автора была договоренность с редакцией на публикацию не одного, а нескольких рассказов или всей серии, но продолжения не последовало... Вернее, оно последовало, но уже в специальном, «профильном» журнале «Медицинский работник». Там в октябре 1925 г. был напечатан рассказ «Крещение поворотом», а затем в течение года были опубликованы все рассказы этого цикла, а также «профильный» для журнала рассказ «Я убил», относящийся к теме Гражданской войны.

Мы уже отмечали, что при публикации рассказы снабжались подзаголовками и подстрочными примечаниями, из которых ясно было видно, что все это — часть одной «солидной вещи». Но в самом последнем рассказе («Пропавший глаз»), во второй его части (окончании) подстрочного примечания: «Из книги „Записки юного врача"» — не было. Не исключено: уже в это время стало известно о том, что рассказы отдельным изданием не выйдут.

Оставшийся нереализованным замысел писателя почти через сорок лет решила осуществить Елена Сергеевна Булгакова (1893—1970), третья жена писателя, владевшая основным массивом его рукописного наследия. В 1963 г. под ее наблюдением вышла в свет книга «Записки юного врача», куда вошли почти все (но не все!) рассказы земского цикла (Библиотека «Огонек». №23).

Издавая книгу, Елена Сергеевна стремилась максимально следовать воле автора. Прежде всего, это выразилось в названии книги: «Записки юного врача. Рассказы», а также в расположении рассказов внутри книги не по времени их выхода в свет, а в соответствии с логикой развития событий: приезд доктора в село, первые операции и так далее, что было правильно. Но при этом Елена Сергеевна, вольно или невольно, допустила некоторые ошибки. Издавая книгу по сохранившимся в архиве писателя журналам «Красная панорама» и «Медицинский работник», она не знала, что в этом комплекте отсутствуют, два номера «Медицинского работника» (№26, 30) за 1926 г., где был напечатан рассказ «Звездная сыпь». В результате этот рассказ не вошел в книгу. Кроме того, при издании была допущена правка авторского текста.

Н. А. Земская, будучи филологом по образованию, высказала ряд серьезных замечаний по изданию. Прежде всего, она не была согласна с названием книги, так как располагала машинописным текстом всего сборника с названием «Рассказы юного врача», который был подарен ей Булгаковым в 20-е гг. Удивление вызвала у нее и неполнота издания (отсутствовал рассказ «Звездная сыпь»), не говоря уже о редакционных «поправках» авторского текста (Н. А. Земская назвала их «порчей текста»). В письме Е. С. Булгаковой она писала: «Вообще надо

напечатать второе издание „Рассказов врача", вернув весь текст подлинника. На выпуски и переделки толкнуло в значительной мере изменение общего заглавия сборника: слово „Рассказы" заменено словом „Записки". Но ведь по жанру это не записки, а именно рассказы. Подгонять текст одного рассказа к другому не было надобности. Кроме того, название „Записки" невольно заставляет пытаться отождествить автора с героем рассказов — юным врачом, 23-летним выпускником, только что окончившим медицинский факультет. А это не так. В этих рассказах Булгаков не воспроизводит себя, а создает своего героя — юного врача, на которого смотрит как старший, как бы со стороны, ставя его в разные положения на основе пережитого самим опыта» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 81-82).

Конечно, совершенно справедливыми были замечания Н. А. Земской, касающиеся неполноты сборника, произвольного изменения названии рассказов (рассказ «Стальное горло» был назван «Серебряным горлом») и «порчи» авторского текста. Но что касается названия сборника, расположения рассказов в соответствии с внутренней хронологией событий и некоторых изменений текста, осуществленных Е. С. Булгаковой, а не редакцией, то тут ее мнение выглядит весьма спорным.

Стремление Н. А. Земской насколько возможно «отделить» автора рассказов от главного героя проистекало, видимо, из того, что за «Записками юного врача» неизбежно следовала повесть «Морфий», «автобиографичность» которой смущала родственников писателя. Если Надежда Афанасьевна воочию все видела и пережила этот кошмарный для Булгаковых период, то Елена Сергеевна ничего о морфинизме супруга не знала (во всяком случае, в ее архиве нет и намека на это) и не связывала главного героя «Записок» и главного героя «Морфия» воедино. К тому же совершенно булгаковское слово «Записки» не могло вызвать у Елены Сергеевны ни малейших сомнений в том, что это предложенное автором, а не редактором название несостоявшейся книги.

И еще об одном важном вопросе, который весьма актуален и по сей день. Е. С. Булгакова внесла изменения в текст рассказа «Полотенце с петухом», с которого начинается повествование. У Булгакова приезд молодого врача в сельскую больницу датирован сентябрем 1917 г. (16 сентября герой рассказа прибыл в Грачевку, а ровно через день он подъехал к Мурьинской больнице). Елена Сергеевна исправила 1917 г. на 1916-й, а поскольку у Булгакова еще было добавлено словечко «незабываемый», то его она просто изъяла.

Логика ее действий понятна: во-первых, Булгаков прибыл в село Никольское в сентябре 1916 г., и во-вторых, если не исправить год приезда, то по тексту повествования возникали логические несуразицы (это понимала Н. А. Земская, поэтому она так упорно выступала против слова «Записки»). Но в данном случае Елена Сергеевна была права, и она это прекрасно сознавала.

Сколько бы ни говорилось о «самостоятельности» каждого рассказа, на самом деле почти все они представляют собой лишь важные части повести о начинающем молодом докторе. Так задумал автор, и расторжение рассказов по времени их публикации означает не что иное, как нарушение его воли. И совершенно очевидно, что сам автор, если бы ему пришлось выпускать «Записки», первое, что сделал бы, так это исправил год 1917-й на 1916-й. Иначе получается, что врач, прибывший в Мурьинскую больницу в сентябре 1917 г., делает операцию солдату (вырывает зуб), только что сбежавшему с фронта после свержения самодержавия (т. е. после Февральской революции). И свидетельство самого героя о том, что он «...врач, прямо с университетской скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции...», — повисает в воздухе, ибо, кроме Февральской и Октябрьской революций, слава Богу, других революций в России не было. С исправлением же года приезда молодого доктора в глушь на сентябрь 1916 г. все становится на свои места, все логично и «хронологично».

И еще. Исследования показали (см.: *Стеклов М. М.* Булгаков на Смоленщине // Политическая информация. Смоленск. 1981. № 10. С. 25), что Булгаков прибыл в Грачевку — Никольское 29—30 сентября 1916 г.! То есть, переводя на старый стиль, — 16—17 сентября 1916 г. Таким образом, Булгаков точнейше зафиксировал в рассказе дату своего прибытия в

Никольское. Более того, он назвал и часы прибытия в село: два часа пять минут! И это не ирония (или не только ирония), но свидетельство того, что Булгаков уже вел свои «записки» или что-то в этом роде, как вел он их в Киеве, во время войны на Кавказе, во Владикавказе и в Москве... Так что слово «Записки» есть кровное булгаковское слово. И Елена Сергеевна не могла нарушить столь очевидную авторскую волю.

При повторном издании «Записок» (*Булгаков М.* Избранная проза. М., 1966) были учтены многие справедливые замечания (правда, рассказ «Звездная сыпь», видимо, еще не был найден к тому времени). Но было сохранено главное — и название, и последовательность расположения рассказов по «внутренней хронологии».

В последующие годы «Записки» издавались многократно (с включением в состав цикла и «Звездной сыпи»), но, как правило, не отдельно, а в сборниках. При этом внутри рассказы располагались по самым разным схемам, зачастую по их первой публикации, т. е. вразнобой, и такой подход сразу показал себя порочным.

При подготовке настоящего издания был выбран вариант систематизации рассказов, ранее использованный Е. С. Булгаковой (1966), но измененный в связи с включением в состав цикла рассказа «Звездная сыпь». Этот вариант в основном соответствует авторскому замыслу и внутренней логике развития событий, хотя спорных моментов избежать не удалось.

Открывается цикл рассказом «Полотенце с петухом» (опубликован был автором предпоследним в серии!), в котором сообщается о прибытии Булгакова в село Никольское, рассказывается о самом докторе и о проведенной им первой сложной операции. По сути, это вступление ко всему повествованию и только оно может открывать весь цикл рассказов.

Вторым следует рассказ «Стальное горло», который начинается впечатляющей и определяющей фразой: «Итак, я остался один». И далее: «Вокруг меня — ноябрьская тьма... Мне очень хотелось убежать с моего пункта...»

В рассказе «Крещение поворотом» тоже вроде бы повествуется о ноябрьских событиях («...по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими... лил дождь... была слякоть, туман, черная мгла...»), но определяющей является первая фраза: «Побежали дни в М-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни».

Рассказы «Вьюга» и «Тьма египетская» отражают наступление зимы. «И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили...» — сообщает автор о своих приключениях. Рассказ же «Тьма египетская» датирован в тексте абсолютно точно: 16—17 декабря.

Некоторые трудности возникли при определении места рассказу «Звездная сыпь», ибо, несмотря на конкретные сведения («Знания у меня, врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет...»), события в нем происходят в течение нескольких месяцев. Мы определили ему место между рассказами «Вьюга» и «Тьма египетская», хотя рассказ можно было бы поместить и после (он тематически тяготеет и к «Морфию»).

Что же касается рассказа «Пропавший глаз», то его завершающее место определяется первой фразой: «Итак, прошел год».

*** * ***

Автобиографичность «Записок юного врача» пока никто не отрицал, но о степени этой автобиографичности существуют различные мнения (разногласия были, как мы уже отмечали, даже у ближайших родственников писателя). Однако существует реальная историческая канва событий, во многом совпадающая с тем, что описано в «Записках».

Но сначала расскажем о том, что предшествовало работе Булгакова в земстве на Смоленщине. Это представляется весьма важным.

Можно привести значительное число фактов из жизни Булгакова, точно указывающих на его способность мгновенно откликнуться на что-то важное и злободневное, на его желание сделать это *добровольно* и бескорыстно. Но мало кто знает, что *добровольчество*, величайшее и редкое качество человеческой души, было присуще ему от природы.

Сравнительно недавно стал известен интереснейший факт из его студенческой жизни. В разгар войны, в 1915 г., когда даже Киев стал постепенно превращаться в прифронтовое место, Военное ведомство обратилось в ректорат Киевского университета с просьбой подготовить список из числа студентов — будущих зауряд-врачей 1-го разряда, желающих служить в армии. Так вот, Михаил Булгаков оказался в числе первых, кто решил *добровольно* отправиться на фронт. Мало того, как свидетельствуют документы, Михаил Булгаков числился и в *особом секретном* списке *добровольцев* (всего 22 студента), пожелавших служить врачами в подразделениях морского флота! Брали же в это элитное ведомство только особо одаренных студентов из благонадежных семей. И лишь состояние здоровья помешало ему уже в 1915 г. войти в состав элитных частей морского флота и принять участие в боевых действиях (Collegium. 1994. №4—5. С. 231—235).

Этот удивительный факт всегда необходимо иметь в виду при рассмотрении жизненного пути писателя, в том числе и службы его в качестве земского врача.

Из воспоминаний современников, родственников и друзей писателя, а главное — из фактов биографии Булгакова явствует, что он был патриотом истинным (не на словах, а на деле) и страстным. Не добившись направления для службы в частях морского ведомства и ощущая всю сложность положения на фронтах (в Киев уже прибывали потоки раненых), Булгаков подает 13 мая 1915 г. ректору университета следующее прошение: «Будучи признан при призыве зауряд-врачей негодным для несения воинской службы, настоящим имею честь просить Ваше превосходительство выдать мне удостоверение о том, что я состою студентом V курса, для предоставления в одно из врачебных учреждений». Получив удостоверение, он немедленно приступает к работе в госпитале Красного Креста в Печерске. Но и до этого, будучи в 1914 г. в отпуске с женой в Саратове, он каждый день ходил в местный военный госпиталь и делал там перевязки (подробнее см.: *Виленский Ю.Г.* Доктор Булгаков. Киев, 1991. С. 49—57).

6 апреля 1916 г. Булгаков заканчивает медицинский факультет Киевского университета и получает сначала удостоверение, а затем и диплом «лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской империи сей степени присвоенными». Вот как гордо звучала степень «лекаря» в Российской империи.

Став остепененным врачом и имея довольно широкие возможности для устройства на работу, Булгаков опять-таки добровольно поступает в военный госпиталь. Об этом свидетельствуют и Т. Н. Лаппа, и Н. А. Земская. Приведем отрывок из воспоминаний Н. А. Земской: «Все окончившие после сдачи государственных экзаменов получили звание ратника ополчения второго разряда. Это было сделано с целью использования молодых врачей не на фронте, а в тылу, в земских больницах, откуда опытные врачи были сняты и отправлены в полевые военные госпитали... Киевский выпуск 1916 года был призван не сразу. Немедленно после окончания Мих. Булгаков поступил в Красный Крест и *добровольно* уехал на юго-западный фронт, где работал в военном госпитале в городах Западной Украины: в Каменец-Подольском и Черновцах. Там он получил первые врачебные практические навыки, особенно по хирургии» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 82).

О работе Булгакова в военных госпиталях имеются воспоминания лишь Т. Н. Лаппа, которая сопровождала мужа по госпиталям и больницам. Вот что сохранилось в ее памяти об этом очень важном отрезке жизни Булгакова: «...Михаил сдал выпускные экзамены на отлично и добровольно поступил в Киевский военный госпиталь. Вскоре госпиталь перевели поближе к фронту, в Каменец-Подольский. Я, конечно же, поехала за ним... У нас была небольшая комната. Миша много оперировал и очень уставал, иногда стоял у операционного стола сутками напролет, но все же мы несколько раз совершали прогулки по городу, останавливались у его достопримечательностей, любовались пейзажами в вечерней дымке, открывавшимися за башнями крепости, возле старинных брам, лестниц и домов. Мне думается, что неповторимая эта панорама каким-то образом отразилась и в описании Ершалаима в „Мастере и Маргарите"... В это время русские войска прорвали фронт и наш госпиталь оказался уже в Черновцах... Работать приходилось много: Михаил очень часто

дежурил, ночью, под утро приходил физически и морально разбитым, буквально падал на кровать, спал пару часов, а днем опять госпиталь, операционная, и так почти каждый день... Но свою работу Михаил любил, относился к ней со всей ответственностью и, несмотря на усталость, находился в операционной столько, сколько считал нужным. Там я многого насмотрелась и на всю жизнь запомнила, что такое война» (Запись А. П. Кончаковского).

В июле 1916 г. Булгаков из добровольцев Красного Креста переводится на военную службу и зачисляется в резерв чинов Московского окружного военно-санитарного управления. Осенью же «в порядке мобилизации» получает вызов в Москву для дальнейшего направления в распоряжение смоленского губернатора. Сохранилось важное свидетельство Н. А. Земской (ее дневник) о пребывании Булгакова в Москве. Вот эта запись от 22 сентября 1916 г.: «Вечер. Миша был здесь три дня с Тасей. Приезжал призываться, сейчас уехал с Тасей (она сказала, что будет там, где он, и не иначе) к месту своего назначения „в распоряжение смоленского губернатора". Привез он... тревогу, *трезвый взгляд на будущее* (выделено нами. — *В. Л.*), жену, свой юмор и болтовню, свой столь привычный и дорогой мне характер, такой приятный для всех членов нашей семьи...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 83).

В последних числах сентября 1916 г. (17 сентября по ст. ст.) Булгаков с женой приезжает в село Никольское...

О пребывании Булгакова в Никольском и о работе в Никольской больнице рассказывается далее в комментариях.